ВАДИМ КУЛИКОВ

Живые обидчивей мёртвых



— Сядь. Расскажу с самого начала. Успеешь до ужина.

Вадим Куликов

Живые обидчивей мёртвых

https://litres.ru/74973868
SelfPub; 2026

Аннотация

Зима сорок первого. Восемьдесят человек идут ночью по гребню, между двумя балками, открыто с трёх сторон. Снег под ногами не скрипит — шуршит, как мука в мешке: не рассыплешь, не растрясёшь — а она всё равно уходит. Они идут в тишине, потому что ночью не видно. Но слышно. Сержант Соколов — писарь: он умеет писать живым, этому учит очередь из тех, кто кладёт перед ним своё горе, как на прилавок. Ему двадцать. Он ещё не знает, что эта ночь будет длиться всю его жизнь.

Содержание

ГЛАВА 2. ПОТОЛОК 20
ГЛАВА 3. КУКУХА 41
Конец ознакомительного фрагмента. 66

Вадим Куликов
Живые обидчивей мёртвых

КУЛИКОВ ВАДИМ

ЖИВЫЕ ОБИДЧИВЕЙ МЁРТВЫХ

ГЛАВА 1. ГРЕБЕНЬ

Ночь с пятого на шестое декабря.

День, перед тем как мы выходим, — самый длинный день в моей жизни, и я этого ещё не знаю. Днём я пишу письма за полроты. Не свои — чужие. Ко мне выстраивается очередь, и каждый кладёт передо мной своё горе, как кладут на прилавок, и я заворачиваю его в слова. «Дорогая мама. Жив. Здоров. Не беспокойся». Я умею писать живым — этому никто не учит, этому учит очередь.

Последним подходит Пашка. Ему девятнадцать, у него обмороженные щёки, и он улыбается так, будто его отпустили из школы на перемену навсегда.

— Пиши, — говорит он. — Дорогая мама.

— Так и пишу. Дорогая мама.

— Жива ли ты, мама моя, — диктует он медленно, отделяя слово от слова, как будто несёт воду в ладонях. — Я жив. Не приболел. Всё у меня по-прежнему хорошо. Учишься дочка Нина? Бей немцев, мама, — нет, не пиши это. Это

я тебе напишу сам, потом, на месте.

— Напишешь, — говорю я.

— Кончил? Кончил, — и он забирает у меня листок. — Только не отправляй. Я сам. Я после марша.

Он садится на нары и переписывает письмо собственной рукой — медленно, с высунутым от усердия кончиком языка, с ошибками, которых я вижу три, а говорю ноль. Потом вырывает из блока чистый клочок и пишет на нём отдельно, крупно, по сгибу:

«Мама, я жив. Не приболел».

Складывает вчетверо и убирает в карман гимнастёрки. И гладит карман — я потом всю войну буду помнить этот жест: он гладит карман ладонью, как гладят кошку или тёплый бочок печки.

— Вот, — говорит он. — Теперь я вооружён.

Я не понимаю ещё, что он сказал самое точное за всю эту войну.

После Пашки очередь не кончается — подходит Колька.

Ему восемнадцать, и он принёс четыре письма — и все четыре на одну деревню.

— Как так? — спрашиваю я.

— Мать, две сестры и дед, — говорит Колька. — Адрес один, а писать надо всем, каждому свой лист. Иначе дед прочитает то, что написано матери, и обидится.

— На что?

— А так, — говорит он. — Живые обидчивей мёртвых.

Колька — деревенский счётчик: он знает, сколько у них во дворе кур, сколько сена на зиму заготовили и когда отелится Зорька. Он говорит про Зорьку так, как говорят про невестку.

— Ты бы, Серёга, к нам после войны, — говорит он. — У нас счёт честный: у кого больше — у того и меньше.

— Это как?

— А так. У кого больше скота — у того и меньше сна. У кого больше адресов — у того и меньше ответов.

Я не понимаю, что он имеет в виду. Потом пойму — и запомню на всю войну.

За Колькой — Санько. Он писем не несёт. Он несёт аккордеон и смотрит на него, как ювелир на чужой камень: не доверяет никому, кто может его уронить.

— Меня не пиши, — говорит он. — Ты письма пишешь — вот и пиши письма. А про меня не надо: у меня и так всё записано.

— Чем записано?

— Мехами, — говорит он и проводит пальцами по воздуху. Три нажатия, которых никто не видит, кроме меня. — Am.

Я ещё не знаю этого слова. Я выучу его позже — вместе со всем, что Санько умеет делать молча.

Вечером приходит Гуськов.

Старший лейтенант Гуськов — короткий, жёсткий, с лицом, будто вырубленным топором. Он говорит «работаем»,

когда другие говорят «пошли». Он собирает нас — восемьдесят человек, две роты, сшитые нитками, — и объявляет маршрут. Объявляет ночью, перед самым выходом, наизусть, без бумажки:

— Идём гребнем. Между балками. К высоте. Ночью не видно — это плюс. Идём в одну нитку, дистанция пять шагов. Сполохов не давать. Не курить. Не разговаривать.

Он стоит перед нами в темноте землянки, и от него идёт уверенность — не тепло, а именно уверенность: тяжёлая, хозяйская, как уверенность человека, который знает маршрут наизусть.

— Вопросы? — говорит он.

Вопросов нет. Маршрут ночью, гребень, высота. Всё в порядке, товарищ старший лейтенант. Мы не знаем ещё, что вопросов у нас завтра будет много и все — к нему.

Когда я выхожу из землянки, он останавливает меня рукой. Мы стоим в темноте, вдвоём, и я вижу только его силуэт — короткий, плотный, собранный.

— Соколов, — говорит он тихо.

— Так точно.

— Ты письма пишешь?

— Пишу.

— Хороший ты человек, Соколов. — Он говорит это быстро, как будто торопится убрать слова, прежде чем они что-то значат. — Дойди. Это приказ.

И хлопает меня по каскетке. По каскетке, как по макушке

сына.

— Едете — значит, едете.

Я не понимаю, что это значит. Но мне нравится, как он это говорит. Мне вообще нравится, как он всё говорит: у него слова лежат во рту, как патроны в подсумке, — по счёту и в каком положил.

Уже на выходе из землянки я оборачиваюсь:

— Товарищ старший лейтенант, а если рация не дойдёт? Связь — она же на себе ношеная.

— Неси, — говорит Гуськов. Он не оборачивается: голос идёт ему в спину, в шинель, в темноту.

И потом, тише, уже не мне — как бы самому:

— Помехи будут. Помехи всегда будут. Работаем.

Я тогда слышу в этом командирскую прямоту: не жалуйся, не жди лёгкого, работай. Так и запоминаю — как запоминают хорошее.

Узнаю другое позже. Когда пойму, чьи это были помехи, — и перечитаю эту его фразу по новому счёту. На войне слова не стираются. Они ждут.

* * *

Мы выходим в ночь. Ночь безлунная, чёрная, как яма, и снег под ногами скрипит так, что слышно, наверное, до самой Германии. Восемьдесят человек. Двадцать три километра по гребню, между двумя балками, открыто с трёх сторон.

Я смотрю на чёрное небо, где ни одной звезды, и думаю: ночью не видно. Но слышно.

Мы идём. Снег под ногами не скрипит — шуршит. Так шуршит мука в мешке, если нести её бережно и долго: не рассыплешь, не растрясёшь — а она всё равно чуть-чуть, по крупице, уходит сквозь холстину. И ты не можешь этого удержать.

Я слушаю этот шуршок и думаю: восемьдесят мешков идут по гребню.

Небо затянуто сплошной тучей — ни месяца, ни звёзд. Но месяц всё-таки есть, он за тучей — я знаю это кожей, как знают за стеной, что там горит печка. И думаю: месяц — один на всех. Он светит и той стороне. Там, за балками, по нему идут такие же тени, по своей колее, шуршат таким же снегом и так же боятся споткнуться о своё.

Одно небо на двое сторон. Это единственное, что на войне делится без остатка — и от этого от него не легче, а страшнее: значит, и ночь эта — одна на всех. Значит, она уже назначена. Просто мы ещё не знаем, кому.

Санька идёт впереди и поёт — беззвучно, одними губами. Он несёт аккордеон — трофейный, измятый, с одной лямкой, — и время от времени поводит пальцами по воздуху, как будто играет. Я вижу это в темноте: пальцы двигаются в воздухе сами, без аккордеона, и я догадываюсь: он играет. Молча. Той песне, которую никто вокруг не слышит, а он слышит её целиком, с басами.

На привале, у сломанной берёзы, он опускается на корточки рядом со мной и показывает растопыренные пальцы.

— Am, — шепчет он. — Am. Это легко.

— Легко, — соглашаюсь я.

Я не знаю ни одного аккорда. Я вообще не знаю, что такое Am. Я не знаю, сколько кнопок у аккордеона и с какой стороны у него меха. Но Саньку это не волнует. Санёк учит меня играть на аккордеоне, которого нет, в темноте, в которую никто не должен дышать.

— Три кнопки, — говорит он и тычет меня в воздух: — Вот. Вот. И вот. Нажимаешь — и красивенько.

— И всё?

— И всё. Остальное — это когда руки уже знают. А ты руки не развязывай: руки у тебя знания не спросят. Ты зажми и держи. Держи — и хватит.

— Где ты научился? — спрашиваю я.

— У отца, — говорит Санёк и замолкает. Потом всё-таки: — Он на такой играл на свадьбах. На свадьбе моей тоже. Я тогда под столом сидел и думал: вот вырасту — тоже буду под столом сидеть.

— А что за свадьба была?

— Хорошая, — говорит он. — Мама пироги пекла. Я до сих пор помню, как они пахли. Всю войну, если закрыть глаза, — пахнут.

И мне двадцать лет, и мне смешно, и я впервые за месяц чувствую, что я не только боец.

— Научишь играть? — спрашиваю я.

— Весной, — говорит Санёк с такой уверенностью, как

будто весна — это место, до которого можно дойти пешком.
— Весной научу. На новой — не на этом, этот уже избитый, у него меха спрошены. Весной куплю себе новый. Или отниму у немца. У немца аккордеон отниму, у самого генерала, — и научу.

— У генерала?

— У самого генерала, — повторяет он. — Генералы, они тоже красивенько любят.

Я запоминаю это. Я запомню это потом — на всю жизнь: «У самого генерала». Это последнее его обещание, и я его выполню, но об этом — очень позже.

* * *

Пашка идёт рядом со мной. Пашке девятнадцать, и он всё время гладит карман гимнастёрки — там записка.

— Как дошли — пошлю, — говорит он.

— Дошли — пошлёшь, — говорю я.

Он идёт молча шагов двадцать. Потом:

— Серёга. А допиши мне ещё. Когда напишешь всем.

— Что тебе писать? Ты же сам написал: «Мама, я жив». Что ещё писать?

— Напиши… — он щурится, как будто читает строку в небе, — напиши: «Мам, я вам приеду в феврале». Мам, я приеду в феврале. Напишешь?

— В феврале, — говорю я.

— Красиво напиши, — говорит он. — Ты же у нас за полроту пишешь.

— За полроты, — говорю я. — В этом взводе писать не умеют, а читать и то не все.

— Все читают, — говорит он серьёзно. — Читают глазами матери. Моя, если завтра хоронка придёт, твою полротовую строчку читать не станет. Моё письмо она будет гладить.

И вдруг, как будто это следующая строчка того же разговора:

— А если я не дойду?

— Дойдёшь, — говорю я.

— А если нет?

— Тогда я пошлю, — говорю я.

И он смеётся. И я смеюсь. И мы идём. Снег скрипит, и в темноте качается Пашкин силуэт, как качается каждый, у кого ноги в волокуше, — и я не знаю ещё, что эти два смеха — последние смеха от него. Последним будет другое слово. Но про него — позже.

* * *

В четвёртом часу утра колонна подходит к высоте.

Сначала тишина. Настоящая, большая, лесная тишина, у которой есть пол и потолок. Потом — дизель. Далеко, на той стороне, кто-то заводит мотор: тук-тук-тук, тук-тук-тук. Ровно, спокойно, по-хозяйски.

— Трактор, — шепчет кто-то в колонне. — Пашут кто-то.

Я думаю — трактор. Кто-то на той стороне живёт по-человечески: пашет землю, заводит трактор посреди ночи, потому что утром работы много. А я стою на этой и мёрзну.

Санька в темноте поводит пальцами. Дизель тарахтит. Мы идём по гребню — двадцать три километра открытой спины, и я потом буду знать, что всё это время нас вели, как ведут рыбу на леске: мягко, медленно, в одно место.

Потом небо падает на нас.

* * *

Обстрел начинается без перехода — сразу залп, сразу накат.

Огонь идёт не по площади — по линии. Вдоль колонны. Накатами, как будто кто-то прокладывает огонь по нашему ходу движения, по шагам, по человеку за человеком. Земля встаёт дыбом, снег идёт вверх и вниз одновременно, и в этом снеге всё смешалось: шапки, сапоги, чьи-то крики, чьи-то полушубки.

Мы кричим «свои». Я кричу «свои» — слышу, как кричат вокруг, — и огонь не отводится. Он накатывает. Он накатывает на нас, как вода, и мы тонем в нём.

— Свои! Свои! — кричит кто-то рядом со мной, и голос у него детский, — и огонь идёт дальше, накат за накатом — по нашему ходу, по нашей тропе, по тому единственному месту, где ещё можно спастись.

Санька падает первым.

Аккордеон вылетает из рук и летит по снегу, раскинув растопыренные меха, как птица, которая не успела. Я падаю рядом с ним и тяну его за шинель — и он уже не Санёк. Он — тело. Он — то, что было Санькой три секунды назад, и

теперь оно лежит лицом в снег, и снежинки садятся ему на затылок и не тают.

Колька сидит на земле и держит руки ладонями вверх.

Я не сразу понимаю, что он держит в ладонях. Потом понимаю. В ладонях у Кольки ничего нет. Совсем ничего. Он держит пустоту — и смотрит на неё.

— Серёга, — говорит он тихо, как разговаривают в темноте. — Серёга, найди.

— Что? — говорю я. — Что найти, Колька?

— Найди руки.

И я ищу. Я ползу вокруг него по снегу, где темно, где всё чёрное, где кровь чёрная и снег чёрный, и ворочаю комья, и сую руки в сугробы, и не нахожу. Я не нахожу ничего.

— Серёга, — говорит он. — Серёга, найди.

— Колька. Колька, ты в порядке.

— Найди.

Я наклоняюсь к нему и держу его за плечи, и он держит пустоту, и мы вдвоём держим пустоту.

Я стягиваю рукавицы и беру его ладони в свои.

Ладони холодные, как речной камень, вынутый из проруби, — но они есть. Они есть.

— Есть, — говорю я. — Руки есть. Живые. Сейчас будут тёплые.

Я дышу на них — долго, из самой груди, потом растираю ладонь о ладонь, потом снова дышу. От морозного дыхания ладони белеют парами, и пар в темноте — единствен-

ный свет, который у нас сейчас есть.

Он смотрит на меня снизу вверх. В глазах у него — то недоверие, с каким пьют первый глоток воды после долгой жажды: не верится, что не отнимут.

— Тёплые будут? — спрашивает он.

— Тёплые будут. У живых тёплые.

Он сжимает мои ладони — слабо, потом сильнее, потом изо всех сил, как будто сдаёт экзамен. И я понимаю: он проверяет не руки. Он проверяет, что у кого-то на этом гребне ещё они есть — кроме него. Что живых больше, чем он насчитал сам себе в темноте.

Пашка кричит «мама».

Я его не вижу — я его слышу. Он кричит «мама» — и этот голос я буду слышать потом всю войну, всю жизнь, до самой смерти. Он кричит «мама» — и я ползу к нему по снегу, и снег перед моим лицом превратился в кашу, в грязь, в чёрное месиво, — и я не успеваю. Я не успеваю.

Я доезжаю до него тогда, когда он уже не кричит. Он лежит на боку, и у него открыты глаза, и они смотрят туда, где недавно был снег, — а теперь там ничего, — и из кармана гимнастёрки выпала записка. «Мама, я жив. Не приболел».

Я кладу записку ему обратно в карман.

Потом достаю снова.

Потом кладу обратно.

Я делаю это несколько раз — я не помню сколько, — потому что если записка в кармане, то он жив, а если записка

в руке, то он ещё не отправил, и я должен отправить за него. Я должен. Я обещал.

Обещал ли? Я не помню, чтобы он просил. Я сам. Сам сказал: «Дошли — пошлёшь». Он спросил: «А если нет?» — и я сказал: «Тогда я пошлю». И он это принял, как принимают всё на девятнадцать лет: без условий, без расписки, в счёт нашего смеха.

И вот я стою на коленях в чёрном снегу и держу бумажку вчетверо, и на ней — «Мама, я жив. Не приболел», — и рука у меня не дрожит. Рука не дрожит, а внутри всё тонко, тонко звенит, как звенит проволока на морозе, когда её тронешь.

* * *

Кир находит меня через час.

Кир — санитар из второго батальона. Он не должен был быть здесь. Он вышел сам — с носилками, с санитарной сумкой, один, на гребень, под огонь. Он ходит между телами, наклоняется, слушает. Если человек дышит — он его тащит. Если не дышит — он его закрывает шинелью. У него нет ни ранга, ни права, ни приказа быть здесь. Он просто здесь. Так и потом будет всю войну: Кир всегда там, где не положено, — потому что положено там, где никто не идёт.

— Сколько нас осталось? — спрашиваю я.

— Считаю, — говорит он. И достаёт из кармана тетрадку — маленькую, в клеёнке, — и карандаш.

Он считает. Он считает весь день — я не вижу, как проходит день, я не помню этого дня, он как яма, как колодец, —

я помню только, что я помогаю: подкладываю шинели, подпираю воронки, ношу воду, вожу, таскаю, — и Кир ходит от тела к телу, наклоняется, слушает, и его карандаш то выходит из-за уха, то уходит обратно.

К вечеру он говорит:

— Восемьдесят вышли. Двадцать три дышат.

Кир сидит рядом со мной — на ящике из-под снарядов — и пишет.

Я смотрю через плечо. Тетрадь в клеёнке, отмытая, со шнурком вместо закладки. Строчки по линейке, от руки, ровные, как по линейке — нет, ровнее. Имена по алфавиту: Артемьев. Ануфриев. Баюков…

— Что ты пишешь? — спрашиваю я.

— Живых, — говорит он. — Двадцать три, как насчитал. Все поимённо, все с адресом, у кого помню.

— А мёртвых?

Кир закрывает тетрадь и держит ладонь на обложке — так закрывают книгу, чтобы слово не выветрилось.

— Мёртвых писать не буду, — говорит он. — Мёртвых помнят не бумагой. А живым список нужен: чтобы каждый знал, что его увидели. Что его внесли. Что он не остался в темноте.

Я тогда не знаю, что эта клеёнчатая тетрадь переживёт нас всех. Что она выйдет с этой страницы на все дороги войны — и на другую её сторону тоже.

И потом, через минуту, — голосом, у которого отобрали

интонацию:

— Санитары вытащили Санька. Он дышит. У него не поднимается рука. Рука — целая. Просто больше не поднимается.

— Аккордеон?

— Разбит. Меха врозь.

И я лежу в снегу и слушаю. Двадцать три. Из восьмидесяти. И где-то между восемьюдесятью и двадцатью тремя — Пашка, Санёк, Колька.

И где-то там же — я.

* * *

Ночью, когда уцелевшие сидят в воронках и молчат, я слышу снова — тук-тук-тук. Дизель.

Он всё ещё работает. Кто-то на той стороне не спит — кто-то глушит.

И я лежу в снегу, смотрю в чёрное небо, где ни одной звезды, и думаю: кто-то знал.

У меня в кармане — блокнот. Писарский: в нём адреса, кому я писал за полроты, — столбик, как расписание поездов.

Я достаю его и, лёжа в снегу, начинаю вычёркивать.

Одно имя за другим. По памяти, в темноте, наощупь — я знаю свои столбики, как Колька знает свой двор. Вычёркиваю тех, про кого теперь знаю. Пашку вычеркнуть не успеваю: его ещё нет в блокноте — он не успел оставить адрес. И от этого пусто, как в разобранном доме: стены есть, а жить

нельзя.

Вычёркивание — это работа наизнанку. Раньше я вписывал людей, чтобы им писали. Теперь вычёркиваю, чтобы некому было писать.

Блокнот делается тоньше. Я держу его в руке и понимаю: вот он, первый счёт. Не у Кира в клеёнчатой тетради — у меня, с обратной стороны, карандашом, не по линейке.

С этой ночи у меня два списка. Один — в блокноте, вычеркнутый. Второй — тот, который не вычеркнешь никаким карандашом: список тех, кто знал. Он начинается с этой ночи. И я его ещё не пишу. Но я уже его чувствую — как чувствуют пазухой лист бумаги, который положил туда и забыл.

Кто-то знал, что мы выйдем ночью, по гребню, к высоте. Кто-то знал маршрут. Кто-то знал время. И этот кто-то — не на той стороне. Этот кто-то говорил со мной по-русски, ел с нами кашу, хлопал меня по каскетке.

Утром я найду в кармане Пашкиной гимнастёрки записку — ту самую, «Мама, я жив», — и решу: я отправлю её. Я отнесу её матери Пашки. Я найду её адрес — любой ценой, через фронт, через тыл, через войну, — но я её найду.

Я ещё не знаю, что эта записка — не письмо. Эта записка — приговор.

И я ещё не знаю, что тот, кто накрыл нас накатами, — по эту сторону фронта. И что я его найду. И что когда я его найду — во мне откроется дверь, которую нельзя будет закрыть.

ГЛАВА 2. ПОТОЛОК

Первое, что я вижу после гребня, — потолок.

Белый потолок. Ровный, без трещин, побеленный так чисто, что глазу не за что зацепиться. Посередине — трёхламповая груша на проводе, и из трёх лампочек горит одна. Я смотрю на неё и не понимаю, где я. Потом появляется запах. Карболка. И тепло одеяла до самого подбородка, и ровное хриплое дыхание слева и справа, и стук колёс далеко-далеко, за стеной — такой ровный, что кажется: это не поезд, это сердце, и оно стучит не у меня, а где-то отдельно.

— Живой, — говорит женщина в белом халате. Она молодая, у неё усталые глаза, и пахнет от неё карболкой и чем-то ещё — чем-то живым, чего я на гребне не встречал месяц. — Ну и хорошо. А то ты сутки молчишь.

Я хочу сказать: меня зовут Серёжа. Открываю рот — и не могу. Не потому, что онемел: потому что не помню. Имя есть — я чувствую его, как чувствуют занозу: есть, точно есть, а вытащить нечем. Серёжа. Сергей. Сергей Петрович. Слова скользят по памяти, как мыло по мокрой ладони.

И тогда — снизу, из самого глубокого места, из той ямы, в которую я упал шестого декабря, — всплывает голос. Хриплый, деловой, с металлом внутри:

«Едете — значит, едете».

И я вспоминаю всё.

— Пашка, — говорю я. Голос чужой, как чужие сапоги. — Где Пашка?

— Кто это? — спрашивает женщина.

— Пашка. Санёк. Колька. Где они?

Она молчит. Я смотрю на неё и вижу, как она выбирает слова — так, как выбирают дорогу в минном поле: наощупь, ступня за ступнёй.

— Восемьдесят вас вышло, — говорит она наконец. — Двадцать три дышат. Остальных я не знаю. Спрашивать не ко мне.

— А к кому?

— Не знаю, — говорит она. И наливает мне воды из жестяного чайника. Рука у неё не дрожит. Ей, наверное, это в сто пятый раз. А мне — в первый.

— Восемьдесят не может не дышать, — говорю я. — Восемьдесят дышали вчера.

— Восемьдесят вышли, — повторяет она. — Двадцать три дышат. Вы спите.

И я сплю. Проваливаюсь, как в воду, — и последний звук, который слышу, — тук-тук-тук за окном. Дизель. Кто-то на той стороне не гасит мотор.

Нет. Я в тылу. Это колёса. Это поезд.

Мне долго приходится повторять это себе, чтобы уснуть.

Первую ночь я не сплю — считаю. Не овец, не звёзды: вдохи. Слева дышит кто-то с перебоями, справа — ровно, как метроном, и я подстраиваю свой счёт под правого, потому

что ровный счёт держит лучше любого одеяла. На восьмидесятом вдохе я сбиваюсь: восемьдесят — это то, что вышло. Двадцать три — то, что дышит. Я начинаю сначала и стараюсь считать не до восьмидесяти, а до двадцати трёх. Двадцать три — столько раз дышит один человек за минуту в тишине. Выходит, вся рота теперь помещается в одну минуту. Я считаю её каждую минуту, минуты идут, и под утро я всё-таки засыпаю — на счёте двадцать два.

Утром меня ведут умываться. Мыло в госпитале — кусок серый, хозяйственный, пахнет чем-то строгим, казённым. Я намыливаю лицо — и от мыла текут слёзы: оно щиплет глаза так, что приходится их закрыть. Я стою с закрытыми глазами и мыльным лицом, и мне впервые за месяц можно плакать, и никто не увидит, и никто не спросит. Слёзы — единственное, что разрешено на войне без объяснения причин, если на лице мыло. Я моюсь дольше, чем нужно. Потом вытираюсь и открываю глаза — и потолок всё тот же, белый, ровный. Красные глаза на войне объясняют мылом, и это одна из двух вежливостей, которые у нас остались. Вторая — не спрашивать.

* * *

Потолок я изучаю три дня.

Дело не в том, что больше не на что смотреть. Дело в том, что потолок — единственная вещь в мире, на которую можно смотреть, не вспоминая. Глядь влево — там Миша, без ступни. Глядь вправо — окно, а за окном зима и госпиталь-

ный двор, где санитары окапывают яблони. А вверх — потолок. Белый, чистый, чужой.

Сначала я не верил, что по потолку можно читать. Потом прочитал.

Вот над третьей койкой побелка вздулась пузырём, и из пузыря сыплется тонкая струйка — не пыль, а мелкая крупка, как сахарный песок. Под этой койкой лежит тот, кто курит. Я не вижу его лица — я вижу только струйку, которая тянется вверх и оседает на потолке. Сухая, чёрная тень. Если курить под потолком, потолок будет курить за тебя.

Вот здесь потолок чистый, вымытый, и рядом — таз на тумбочке. Под чистым потолком лежит тот, о ком говорят шёпотом. Я его ещё не видел. Я слышу, как сёстры проходят мимо его койки быстрее и говорят тише, — и это заметнее любого крика.

А вот над моей койкой — трещина. Тонкая, как волос, она идёт от угла к груше и обрывается, не дойдя. Я смотрю на неё ночами и жду, когда она дойдёт до лампы.

Она не доходит. Трещина на войне — единственное, что растёт медленно.

* * *

Справа от меня — Миша.

Ему отрезали ступню. Отрезали по щиколотку, и я знаю это не потому, что он сказал, — он не сказал, — а потому, что ночью я слышал, как он смотрит на одеяло там, где кончается нога. Он не стонет. Он лежит и читает книгу — ста-

рый роман, без обложки, страницы серые, как телогрейка, — и читает он всё время, когда я на него смотрю, и не читает, когда я отворачиваюсь.

На третий день я не выдерживаю:

— Что читаешь?

Миша поднимает глаза. Лицо у него простое, хлебное, с длинным носом, и глаза усталые, как у человека, который давно перестал удивляться.

— Книгу. Старую. Без обложки.

— Про что?

— Про то, как одна женщина ждала мужа с войны.

— Дождалась?

Миша молчит. Потом перелистывает страницу — аккуратно, за уголок, как будто боится порвать.

— Не знаю, — говорит он. — Последняя страница оборвана. Кто-то на фронте дочитал раньше меня и вырвал.

— Может, случайно?

— На фронте ничего не бывает случайно, — говорит Миша. И снова смотрит в книгу.

И мы оба смотрим — он в книгу, я в потолок, — и это самая длинная речь, которую я слышу за всю войну. Не слова — молчание. Молчание, у которого есть содержание: ступни нет, а разговора об этом нет, и мы оба держим это молчание, как держат гранату — бережно, чтобы не дёрнулась.

Иногда Миша встаёт и идёт. У него костыли, и он ходит по палате от окна к печи и обратно — восемь шагов туда,

восемь обратно, — и я слышу этот шаг: тяжёлый и лёгкий. Тяжёлый — когда он ступает целой ногой, лёгкий — когда он делает то, что раньше делала вторая. Он не хромает — он перелетает. Так ходят те, кто уже договорился со своим горем: не воевать с ним каждый день, а платить ему дань и жить дальше.

— Ты не спрашиваешь, — говорит он однажды, останавливаясь у моей койки.

— О чём?

— Про ногу.

— Зачем? Я видел, как люди теряли больше.

— Знаю, — говорит Миша. — Поэтому ты мне нравишься. — И идёт дальше: восемь шагов, восемь обратно.

Вечерами Миша читает вслух. По вторникам и пятницам — так он сам назначил, — и у него три слушателя: я, Витёк и старик с четвёртой койки, который уже не отвечает, но дышит в такт строкам, и это значит, что слушает. Миша читает чуть слышно, ровно, как везут воду в ведре: чтобы не расплескать. На войне голос, которым читают, — тот же голос, которым сообщают о смерти, только громкость другая. Палата различает эти голоса за секунду.

А в его вещмешке, под бинтами и сменой белья, лежит билет в кино. Миша сам показал — на третий вечер, когда разговорились: купленный в четверг, на сеанс в семь, ряд третий, место девятое. Он купил его утром, а в полдень его подобрали с поля. Билет лежит в бумажнике, неиспользован-

ный, и Миша его не выбрасывает и не продаёт.

— Выбросить — значит признать, что сеанса не было, — говорит он. — А пока билет лежит — я ещё могу успеть. В любой четверг. На любой вокзал.

Я не спорю. Человек держится за то, что держит. У меня в кармане — записка, у него — билет. Мы с ним одной породы: храним бумагу, в которую не верим, потому что без неё верить не во что.

* * *

Ночами мне снится дизель.

Не дизель — тарахт. Тук-тук-тук. Ровный, хозяйственный, как трактор на осенней пашне. Я просыпаюсь от того, что сижу, и кричу: «Свои! Свои!» — и кто-то держит меня за плечи, и я вижу белые халаты, и они держат меня, как держат бьющееся стекло. А я всё кричу, потому что в крике есть смысл: если кричать «свои», огонь отведут. Это я знаю. Это правда.

Просто отводить некому.

Приходит Аня. Она приходит не потому, что я кричу, — она приходит, когда слышат, что кричат.

— Тише, — говорит она. — Тут раненые. Ты их разбудишь, а им снится своё.

— Дизель, — говорю я. — Слышите? Тарахтит.

Она слушает. В палате тихо, только хрипят спящие и потрескивает одинокая лампа.

— В котельной, — говорит она. — Топят. За окном мороз,

слышишь?

— В котельной, — повторяю я.

— В котельной, — говорит она твёрдо. — Не на той стороне. Ты в тылу, Серёжа. В тылу дизели топят бани и котельные, и это хорошие дизели.

— Хороших дизелей не бывает.

— Бывают, — говорит она. — Вот этот — хороший. Он греет воду. Ложись.

Я ложусь. И долго лежу, глядя в трещину над головой, и слушаю тук-тук-тук, и стараюсь думать о горячей воде, о бане, о том, как хорошо, что где-то топят. Не выходит. В том тарахте, который я слышал на гребне, тоже был ровный, хозяйственный звук — и под этот звук накрыло колонну накатами, вдоль, по шагам, по человеку за человеком.

Аня стоит над мной. Я слышу, как она дышит.

— У вас кто-нибудь есть? — спрашиваю я, чтобы сказать хоть что-то.

— Был. Сорок первого ушёл. — Она говорит это так, как говорят про погоду. — Ты спи.

— А если не дойдёт?

— Дойдёт.

— А если нет?

Аня молчит. Долго. Потом наклоняется и поправляет мне одеяло — жест у неё такой, будто она делает это тысячу раз в день. И, наверное, делает.

— Тогда пусть пришлёт весточку, — говорит она тихо. —

Хоть строчку. «Жив». Одну строчку — и дом стоит.

И уходит. А я лежу и думаю: а если строчка и есть — «мама, я жив»? Что тогда делает та, кому она не дошла?

От Ани остаётся запах яблок. Слабый, тёплый — не свежих, сушёных. Я потом узнал, откуда он: в сестринской, под её койкой, стоит ящик сушёных яблок — осенний, ещё с той стороны, с мирной. Она варит из них компот раненым, но не всем подряд: лучшие дольки, целые, откладывает в банку для тех, кто после операции, — и банку держит под койкой, и ящик отдаёт ей запах на весь день.

Сад, который санитары окапывают во дворе, живёт у неё в сумке — дольками. Мне это кажется правильным: на войне фрукты тоже воюют, просто другим способом. Яблоко, которое дают раненому после операции, делает больше, чем орден: ордену не надо глотать.

Когда Аня входит в палату, первые секунды я не вижу её лица — я сначала чувствую яблоки. И это хорошо: по запаху я узнаю, что пришло живое, раньше, чем приходит страх.

* * *

На четвёртый день приносят письмо.

Миша передаёт его мне из рук в руки — осторожно, как передают горячее:

— Тебе.

Конверт простой, треугольный, полевой. Почерк на нём женский, косой, с нажимом. Я смотрю на конверт и знаю, кто пишет, раньше, чем прочту адрес. Матери пишут с нажимом.

Они продавливают букву насквозь — будто так она вернее дойдёт.

Я разворачиваю.

«Серёжа, я знаю, что вы вместе служили. Я знаю, что ты живой — это уже счастье. Я не прошу тебя ничего, кроме одного: если ты знаешь что-то про Пашу — напиши. Мама должна знать. Любую правду — лишь бы знать».

— Откуда она знает, что я живой? — спрашиваю я вслух.

— Списки, — говорит Миша. — Их ведут. Живые, раненые, пропавшие. По спискам всё видно. Только спискам верить нельзя.

— А ей?

— Ей верить обязательно, — говорит Миша. — Она мать.

Я складываю письмо. Кладу под подушку. Достаю. Кладу снова. Миша смотрит на меня и молчит — он умеет молчать так, что молчание понятно лучше слов: он знает, что в письме. Ему и без чтения видно, как я держу конверт — двумя пальцами, за уголок, как держат то, что может взорваться.

— Не откроешь? — спрашиваю я.

— Моё там всё уже открыто, — говорит Миша. — У меня своё письмо ждёт с ноября. Я его не открываю.

— Как так?

— А так. Пока не открываю — жена ждёт. Открою — и всё, что было между нами, кончилось бумагой. Понимаешь? Пока письмо запечатано — она пишет и пишет. Я умею читать между строк: она пишет «продали корову». Это значит

— ждёт. Саботирует, — он усмехается краем рта. — Первое письмо я всё-таки открою. Только когда встану. На одной ноге, но встану.

И я понимаю, что Миша — самый сильный человек в этой палате. У него нет ступни, а есть опора: он решил, что встанет, — и это держит его крепче гипса.

Ночью я достаю карандаш и бумагу. Садятся все, кому не спится: кто-то храпит, кто-то стонет во сне, кто-то всхлипывает — по-детски, коротко, и сразу замолкает, стыдясь себя даже во сне. Я лежу с карандашом над бумагой и не могу написать ни строчки.

Я могу написать: «Пашка погиб шестого декабря». Три слова — и одно из них убьёт её.

Я не могу написать: «Пашка жив». Это будет ложь. Я умею писать живым — я целую зиму писал живым за всех, кто не умел. Но для этой женщины ложь будет чёрная, не жидкая, а такая, от которой не отмоются.

И я лежу между этими двумя невозможностями — ни там, ни тут, — и не умею жить.

Я не помню, сколько я так просидел. Может, час. Может, четыре. За окном серело — или светало, я уже не различал.

Аня находит меня с этим карандашом. Забирает у меня карандаш из рук — не отбирает, а именно забирает, как забирают у ребёнка нож.

— Что надо написать? — спрашивает она.

— Правда.

— Какая правда?

— Тот, — говорю я, — кто должен был сказать ей правду, — умер. А тот, кто жив, — не умеет. Это всё.

Аня молчит. Потом садится рядом — не на кой, на табуретку, боком, — и говорит:

— Пиши правду. Только не всю сразу. Пиши: «Он был хороший». Это правда?

— Правда.

— Пиши. Только это.

Я пишу. Рука дрожит, и буквы выходят кривые — первый раз в жизни у меня кривой почерк, я, который всю войну писал ровно, за всех ровных и кривых. «Он был хороший». Три слова. Они весят меньше пуговицы.

— Всё? — спрашиваю я.

— Всё, — говорит Аня. — Остальное она допишет сама. Матери умеют дописывать.

Я смотрю на неё — как это, дописывать?

— Дописывать, — говорит она и не объясняет. — Понесёшь на почту?

Я несу. Письмо в руке, и оно лёгкое, невесомое, а я несу его, как несу похоронку. У двери почты стоит Аня — она дошла со мной через весь двор, хотя ей не надо было.

— Ты ведь найдёшь того, кто это сделал, — говорит она.

Я оборачиваюсь. Я не говорил ей.

— Ты думаешь, я не слышу? — говорит она. — Ты ночной. Ты не спишь. Ты лежишь и думаешь, и я слышу, как ты

думаешь. — Она берёт меня за рукав. — Найди. Но потом — возвращайся. Обещай.

Я обещаю.

Я ещё не знаю, что обещания на войне — самое хрупкое, что есть. Хуже записки.

* * *

В тот же день ко мне подсаживается Витёк — с третьей койки, мальчишка семнадцати лет, у которого обе руки в бинтах до самых плеч. Под бинтами — пальцы, обмороженные и отходящие, чёрные у ногтей. Он держит их на весу, как держат хлеб, который нельзя уронить.

— Серёга, — говорит он. — Ты же писать умеешь?

— Умею.

— Напиши матери. Только так напиши, чтобы она не догадалась.

— Не догадалась о чём?

— Что я тут. Напиши: служу, всё нормально, кормят хорошо. Про руки — ни слова. Она догадается по почерку. У меня почерк кривой теперь, а ты напиши ровно. Ровно — значит, руки целы. Так не бывает? Ну и пусть. Пусть думает, что бывает.

И я пишу ровным почерком: «Дорогая мама. Жив. Здоров. Не беспокойся». И Витёк смотрит на меня из-под бинтов — он не видит, но он смотрит, — и я понимаю, что ремесло вернулось ко мне. Я снова пишу живым. Только теперь я знаю цену каждому слову: за каждым «жив» кто-то лежит

без пальцев, без ступни, без лица — и держится на одной строчке, как на гвозде.

К вечеру у меня очередь из четырёх человек. Все просят одно и то же: жив, здоров, не беспокойся. Я пишу. У меня ровный почерк и сухая рука, и это лучшее, что есть во мне на этой войне, — и худшее тоже, потому что ровный почерк для Витиной матери означает целые руки, а целых рук нет.

И только одно письмо я не могу написать. Оно лежит у меня в тумбочке, в конверте с косым нажимным почерком, и на него надо отвечать.

«Он был хороший» — уже ушла. Но этого мало. Мать просит правду.

Правда — это журнал заявок. Правда — это накаты вдоль колонны. Правда — это то, что я пока не знаю сам.

Миша говорит:

— Не пиши ей правду пока. Правда — она как морфин: доза решает всё. Больше надо — убьёт. Меньше — не поможет.

— А когда писать?

— Когда узнаешь всё. Всю, — говорит Миша. — Додумаешь — напишешь. Мать почувствует недосказанное. Мать всегда чувствует недосказанное — она потом сама себе его допишет, только хуже.

В госпитале есть свой почтовый день — среда. Рано утром приходит фельдъегерь, и у тумбочки, где лежит почта, встаёт очередь — тихая, притихшая, как очередь у бани: все стара-

ются не выказывать нетерпения, потому что нетерпение на почте — это неуважение к тому, чьего письма нет. Почта любит, когда верят. Вера на почте — это рабочая дисциплина: конверты доходят быстрее, если их ждут ровно, без суеты. Так, по крайней мере, считала вся палата, и я не спорил: у нас с почтой был договор, как у меня с ремеслом.

Мне в среде приходили две вещи: вестовые конверты, которые я писал как писарь, и ничего моего. Моих писем не было — мне некому было писать, кроме одной косой нажимной руки, и та рука лежала в тумбочке, конвертом вверх, и я обходил её на десятой скорости.

Миша в очередь не вставал. Он ждал, пока все возьмут своё, и потом подходил к тумбочке, смотрел на общий ворох — и уходил. Его письмо с ноября лежало дома, запечатанное, и почтовый день был для него не радость, а проверка: выдержит ли. Он выдерживал каждую среду. Я однажды смотрел, как он это делает: подходит, кладёт ладонь на ворох конвертов — просто кладёт, как на горку снега, — и убирает. И идёт к своей койке, восемь шагов, восемь обратно, только шаг у него в этот день тяжелее.

* * *

Через месяц меня осматривает врач.

Долго смотрит ухо, потом глаза, потом водит пальцем по карте — по карте, где мои осколки нарисованы крестиками, как на бумажной простыне крестики вышивки.

— Ты здоров, рядовой, — говорит он. — Ступай.

— Куда?

— Куда распорядишься.

— А куда распорядится?

— Поедешь — узнаешь, — говорит врач и не смотрит на меня. И я понимаю: это не приказ, это вежливость. Врач не знает. Никто не знает. У меня нет роты — рота осталась на гребне. Нет батальона — батальон разбит. Есть только записка в нагрудном кармане и конверт с косым почерком, на который я так и не написал ответа.

Сборы занимают минуту. Вещмешок пустой, шинель стиранная, сапоги — те же самые, в которых я шёл по гребню. Я их не мыл. На правом ботинке — тёмное пятно, которое я не могу оттереть. Я его и не пробую. Пусть будет.

Миша провожает меня до дверей.

— Книгу, — говорит он. — Возьми.

— Зачем? Она твоя.

— Дочитаешь за меня. Только, Серёжа, не читай последнюю страницу. Оборвана — и пусть остаётся оборванной. С оборванной страницей конец можно придумать самому. — Он усмехается краем рта, но глаза не смеются. — У меня теперь всё придётся придумывать самому. Так хоть одна страница придумается за нас обоих.

— Придумаю, — говорю я. — Доживёшь до весны — расскажу, что придумал.

— Доживу, — говорит Миша. — Я теперь на одной ноге. Устать не успею.

Он стоит у двери на своих костылях, и за спиной у него — койка, пустая теперь, заправленная по-казённому ровно. Я смотрю на его лицо и думаю: а ведь он меня удерживает. Вся палата меня удерживает — всеми своими храпами, стонами, кроссвордами из потолочных трещин. А выйду — и нет ничего.

— Иди, — говорит Миша. — И не теряй записку.

Он знает про записку? Я молчу.

Молчание — да.

* * *

Меня высаживают на маленькой станции, где поезд стоит пятнадцать минут.

Пятнадцать минут — это много. Это целая жизнь, если стоять на перроне и не знать, куда идти. Вокзал маленький, деревянный, с башенкой; снег вокруг перрона нетронутый, и на нём — одни птичьи дорожки. Люди выходят из теплушек, курят, кто-то плачет в платок, кто-то смеётся — громко, нарочито, потому что смех на перроне — тоже лекарство.

Я стою с вещмешком и не знаю, куда идти.

И тут я вижу его.

Кир.

Санитар с гребня. Он стоит у состава — с той стороны, где никому не положено стоять, — в шинели на два размера больше, рукава свёрнуты вчетверо, и под мышкой — санитарная сумка с красным крестом, стёршимся до розовости. Он смотрит на меня — и я смотрю на него — и мы оба по-

нимаем, кто перед кем, за полсекунды, без слов.

— Ёжик, — говорит Кир. — Живой.

— Кир.

— Куда идёшь?

— Не знаю. Меня нет ни в одной части.

— И меня нет, — говорит он. — У меня тоже ничего нет. Есть сумка. Есть тетрадка, в которой я считаю. Хочешь — пойдём вместе?

Он открывает сумку и достаёт тетрадь — маленькую, в клеёнчатой обложке, со шнурком. Такой же я видел на гребне, под накатами, когда он ходил между телами и считал.

— Ты всё считаешь? — спрашиваю я.

— Всё. — Он кладёт тетрадь обратно. — Двадцать три, — говорит он. — Я их всех помню по именам. Хочешь, назову?

— Назови.

— Сашка Морозов, осколок в бедро. Ершов, контузия. Гриша Данилов, слепой на левый глаз — а правым читает письма, которые я ему пишу… — Он называет имена ровно, по одной строке, как выкатывают патроны из обоймы: щёлк, щёлк, щёлк. — Имена — это то, что осталось, когда всё остальное унесли. Понимаешь? Убить можно много чего — а имя не убьёшь. Имя ходит.

— А те, кто не дышат? — спрашиваю я. — Их ты считаешь?

Кир молчит. Потом говорит:

— Тех, кто не дышит, я закрываю шинелью. Шинели не

считаются. — И смотрит мне в глаза. — Но в этой войне, Серёжа, есть счёт, который ведётся без бумаг. Он ведётся на нас — в нас. И его никто не отменит.

Где-то за спиной гудит состав. Пятнадцать минут прошли — кондуктор машет фонарём.

— Ты знаешь, кто это сделал? — спрашиваю я.

— Не знаю.

— А я узнаю. Я найду.

— Найдёшь, — говорит Кир. — Только не забудь, зачем. Тут такие находят — что потом сами не могут остановиться.

И мы идём по перрону вдвоём — двое без части, без роты, без адреса, — но с одной запиской, с одной тетрадкой и с одним вопросом.

Идя рядом с Киром, я начинаю учиться у него главному санитарскому правилу — искать не глазами, а рукой. Глаза на войне врут чаще, чем рация: они выбирают, что показать. Рука не выбирает. На гребне, рассказывал он, он ходил между лежащими и трогал — не лица, а шею, под челюсть, где пульс ближе всего к свету. Пульс живого бьётся в подушечках пальцев даже через ватник. Глаз увидит, что человек лежит неподвижно; рука узнает, что он ещё считает своё.

— Смотришь — видишь, что мёртвый, — говорил он. — Трогаешь — узнаёшь, что живой. На войне сначала трогай. Потом смотри.

Это правило потом всю жизнь будет работать во мне не только по отношению к раненым. Ищи рукой — значит: не

верь общему впечатлению, верь тому, что можно проверить прикосновением. Я после этого долго проверял всё рукой: письма, людей, обещания. Не всё выдерживало проверку. Но и не всё было мёртвым, как казалось издали.

А поезд за нами ухает в тыл. Дым столбом, и в дыму — чёрные искры, и одна из искр — это всё, что осталось от той ночи на гребне, если смотреть с перрона.

И где-то в этом тылу — мать Пашки.

Которая ждёт письма.

Которое я ещё не написал.

* * *

Ночью, в теплушке — нас повезли на север, к линии фронта, — я достаю Пашкину записку.

Я несу её с шестого декабря. Она в нагрудном кармане, где носят документы: «Мама, я жив. Не приболел». Почерк у Пашки детский, круглый, буквы прыгают, как воробьи. Он написал её в санчасти, аккуратно, на клочке бумаги, и носил как икону, как бомбу, как паспорт. И обещал послать, как дойдут. Как дошли.

Я разворачиваю записку и читаю её в десятый раз — десятый, сотый, я сбился со счёта. «Мама, я жив. Не приболел». Всё. Больше ничего. Она весь — такая, как эта записка: короткая, тёплая, с запасом на полгода.

Я складываю её обратно. Вчетверо — так, как складывал он. И держу на ладони.

В тамбуре холодно, и колёса стучат — тук-тук-тук, тук-

тук-тук, — и я слушаю этот стук и думаю: вот и всё, что у меня есть. Записка. Тетрадь Кира, которую он увёл в свою сумку, и моя — пустая, потому что я ещё не начал свой счёт. Вопрос, на который надо ответить. И письмо, которого я боюсь.

Кир сидит напротив и смотрит на меня.

— Что? — спрашиваю я.

— Ничего, — говорит он. — Просто запоминаю.

— Что запоминаешь?

— Как ты держишь записку. — Он отворачивается к окну, за которым стоит чёрная зима, и говорит тихо, почти шёпотом: — Так держат, Серёжа, когда обещание становится делом. Это плохой знак или хороший — я ещё не решил.

И поезд идёт на север, в ночь, где ждёт гребень, — а в нагрудном кармане у меня лежит бумажка весом меньше пуговицы.

И на ней — вся правда, которую я пока умею: «Мама, я жив».

Чья-то мама ждёт этой правды уже месяц. Я знаю её адрес.

Я еду.

ГЛАВА 3. КУКУХА

Гребень встречает меня снегом по колено и тишиной.

Я возвращаюсь через месяц. Меня не спрашивают — меня просто вписывают в список пополнения сводного батальона, как вписывают нераспечатанный ящик: «прибыло, усилить второй». Новой роты нет — есть остатки двух старых, сшитые нитками: сто человек из трёх разных полков, у которых нет ни общей земли, ни общих привычек.

Сводный батальон — это тетрадь, сшитая из разных тетрадей. Сто человек из трёх полков, и каждый принёс свой шов: у одних ужин по привычке в восемь, у других — в десять, у третьих — жест, которого не отучишь, каждую ночь перед сном проверить левый карман. Первые две ночи в траншее слышно, как швы намокают: никто ещё не знает, кто чей сосед, и каждый дышит в стенку так, как дышал дома. Потом швы затягиваются — потому что обстрел делает то, чего не сделает никакой комиссар: выравнивает дыхание. Через неделю батальон читается как единый лист, и только я, писарь, помню, где были швы, — я их записывал.

Я вписывал прибывших. Вписывать чужого — это ремесло: сначала узнаёшь, как звать, потом — как звать мать, потом — что он никого не ждёт, потому что мать умерла ещё в марте. И тогда я делал то, что умею: писал его матери по старому адресу — накрепко, как пишут на посылках. Пусть

письмо идёт по старому адресу. Пусть соседи прочитают и понесут по двору. На деревне человек, который пишет матери, — живой. Это правило у нас работает лучше устава.

Ведёт нас вдоль траншеи молодой сержант с красным от мороза носом, и я слушаю, как за спиной перешёптываются. Один кашляет так, что его слышно через два окопа. Другой делит махорку — последнюю, судя по тому, как пересыпает её из кармана в карман, будто боится растрясти. На привале он перекладывает горсть в мою ладонь и смотрит в сторону:

— Нормальный табак. Себе не даю. Себе не дают.

— Тебя как звать?

— А зачем? — Он поправляет ладонь, чтобы табак не высыпался. — Зовут, если живой останешься. А если нет — так и мёртвому не надо.

И уходит, кашляя, в темноту. Снег хрустит под ним, как под счётами: щёлк, щёлк, щёлк.

А командует нами он.

Гуськов.

Я вижу его издалека — на бруствере, спиной к нам, и спина у него та же самая: короткая, жёсткая, будто вырубленная топором. Он оборачивается, и я жду — чего жду, сам не знаю. Рукопожатия. Слова. Хоть взгляда того, каким он смотрел на гребне, когда кричал в рацию «ответь».

— Пополнение? — говорит он строевым голосом. — Разворачивайся по фронту. Знакомиться будете в бою, быстрее выучите.

И только когда я, встав в шеренгу, поднимаю на него глаза, — в его лице на полсекунды что-то даёт трещину. Не согревается — именно даёт трещину, как лёд: одна тёмная полоска поперёк, и сразу под полоской — вода. Потом затягивается снова.

— Серёга, — говорит он тихо, одними губами. — Живой. Ну и хорошо. Иди в строй.

Я иду в строй. И всю ночь, на посту, смотрю на его спину и думаю о том, что он единственный из офицеров батальона, кто выжил на гребне. Единственный. И мне нельзя об этом думать, и я об этом думаю.

Дудника привозят на четвёртый день.

Капитан Дудник — сухой, аккуратный, с портфелем, который он держит всегда одинаково: под мышкой, замком к себе, как матери держат младенцев. Он опрашивает выживших по одному, в отдельной землянке, и я слышу через фанерную стенку всё — потому что те, кого опрашивают, говорят громко. Им кажется, что громче — значит, честнее.

— Итак, — говорит Дудник. — Вышли в двадцать три ноль-ноль. По какому маршруту?

— По гребню, товарищ капитан. Как велели.

— Маршрут кто объявлял?

— Товарищ старший лейтенант. Ночью, перед выходом.

— Ночью перед выходом. Значит, о времени выхода знал весь личный состав.

Пауза. Скрип карандаша. Скрип идёт по фанере, как

гвоздь по доске.

— Товарищ капитан, так что же вы пишете? Я не знал, честное слово, не знал…

— Записываю факты, рядовой. Факт: противник накрыл колонну артогнём на марше. Огонь был точный, накатами, вдоль линии движения. Выводы делайте сами, я запишу за вас.

А потом Дудник спрашивает про рацию:

— В ночь марша кто работал на рации?

— Рация была у товарища старшего лейтенанта. Связист погиб раньше.

— Значит, рация была у старшего лейтенанта Гуськова. Он вызывал артдивизион?

— Вызывал! Орал! КООРДИНАТЫ, мол, СВОИ ОГОНЬ, СВОИ! — голос ломается, это голос человека, который был на гребне. — А в ответ помехи! Одни помехи!

К Дуднику ведут очередь — стоит она в стороне от фанерной землянки молча, и каждый ждёт, когда выйдет предыдущий. Выходят по-разному. Один — быстро, как ототвечал на уроке и убежал до вопроса. Другой — медленно, неуверенными шагами, будто несёт теперь в себе чужой портфель. Третий вышел, сел на ящик у входа, положил шапку на колени и долго смотрел на свою ладонь — так смотрят люди, которые впервые заметили, что рука дрожит.

Я слушаю через фанеру и думаю: опрос — это тоже счёт. Только Дудник считает не нас — считает то, что мы сказа-

ли: кто вышел, кто кричал, кто видел. Из наших показаний он сшивает ночь гребня, страницу за страницей, и у него выходит ночной гребень целиком — аккуратный, разлинованный, с полями. А я знаю одну строку, которой в его сшивке не будет и быть не может: строку, которая держит всё, — и она в кармане у того, кто идёт в эту очередь последним.

— Помехи, — повторяет Дудник. — Понятно. Свободен.

Скрип карандаша. Хруст портфеля. Скрип сапог. Тишина.

И я лежу в темноте на своём наре и собираю — не себя, себя я уже собирал в госпитале, — я собираю ночь гребня. Деталь за деталью, как собирают миномёт.

Первое. Обстрел начался, когда колонна была на подходе к высоте. Значит, тот, кто наводил, знал не только маршрут — время.

Второе. Мы кричали «свои» — и огонь не отводился. После обстрела никто не атаковал, и разведка потом не находит на той стороне ни свежих окопов, ни следов. Некому было атаковать. Нас накрыла своя батарея — по заявке, по кодовому слову, по расписанию.

Третье. А помехи. Помехи были не от погоды. Я помню: в тишине между залпами кто-то далеко, на той стороне, заводил дизель. Я думал тогда — трактор. Не трактор. Дизель — это станция. Станция глушит. Пока работает дизель, «отбой» не проходит никогда.

Значит, у заявки было два сообщника. Один писал. Вто-

рой — глушил.

А первый шёл во главе колонны. Первый выжил. Первый вчера построил меня в шеренгу и одними губами сказал: живой. Ну и хорошо.

Нет. Стоп. Я не имею права так думать. Я — тот, кто помнит. Но помнить — не значит обвинять.

Я закрываю глаза. И, конечно, не сплю. Потому что тот, кто помнит такую ночь, спит только одним способом: лицом в стенку, чтобы утром не видеть потолка.

Кира я нахожу на третий день — в перевязочной, в соседнем батальоне: судьба, как рикошет, свела нас в одну деревню. Я заглядываю под брезентовый полог — и замираю.

Он не перевязывает никого. Он сидит на ящике из-под перевязочных средств, и на нём нет лица. Есть только половина: вторая — сине-жёлтая, оплыла, глаз не видно. Скула стоит горбом, как неверно сросшаяся доска.

— Кир…

— Проходи, — говорит он нормальным голосом. И это страшнее, чем если бы он стонал. — Садись. Только на другую табуретку. Эта скрипит.

Я сажусь. Керосинка шипит. Где-то за стеной кашляет тот самый кашляющий.

— Кто это сделал?

— Капитан с портфелем. — Он осторожно трогает скулу и не трогает: рука замирает в сантиметре, как у человека, который помнит, где болит. — Ты вчера не был на утренней

поверке. Он спросил — где рядовой такой-то. Я сказал: был у меня на перевязке, заснул после морфина, уводить нельзя, у него осколки ходят. Морфин, — повторяет Кир. — Соврал морфином. Он вызвал санинструктора — у того морфин был на учёте, я расписывался за каждую ампулу. Дальше считать умеешь.

Я стою и не знаю, куда девать руки. Врачи умеют врать по бумагам. Кир — не умеет, у Кира все вранья на лице написаны.

— Прости, — говорю я.

— Не говори так, — отвечает он быстро, как отмахиваются от мухи. — От «прости» мне скулу не собрать. Слушай сюда. Ты полез к артиллеристам — я знаю, у тебя из-под ватника бумажка торчит, ты её как икону за пазухой носишь. Я не спрашиваю, что ты ищешь. Но я тебе скажу одно: когда меня били — я не сказал про тебя ни слова. Ни фамилии, ни маршрута. И знаешь, почему я молчал?

— Почему?

— Потому что я санитар. Я никого не сдаю. Даже тех, кого мне сдали враги. — Он смотрит на меня здоровым глазом, и в этом глазу нет нежности — есть усталость. — Но у молчания, Серёга, есть счёт. И его платят скулами. Так что делай что делаешь — быстрее. Я за тебя больше не заплачу.

Он встаёт, ловит за рукав идущего мимо раненого, усаживает, начинает бинтовать — и в этом жесте, в этой обычности, я вдруг слышу его «быстрее». Не «не делай». Быстрее.

К дивизиону я иду попутным продуктовым полутораком.

Водитель мрачный, в рукавицах без пальцев, и на капоте у него — герань. Не нарисованная: живая, зелёная, с белыми прожилками, привинченная к обручу у ветрового стекла. Я смотрю на неё всю дорогу, потому что зелёное на войне — цвет, которого не бывает.

— Не кури, — говорит водитель. — Светло.

Я прячу цигарку. Он ведёт машину молча, и только на развилке, сбавляя ход, говорит, не поворачивая головы:

— Цветы, это ты зря пялишься. Она не для красоты. Она для меня: пока зелёная — еду.

И добавляет газ. Я не спрашиваю, что будет, когда она завянет. Я уже знаю, как на войне отвечают на такие вопросы: никак.

Второй дивизион — в старой школе.

В классах сняли портреты, но остались гвоздики: ряды маленьких дырок под потолком, и в каждой дырке — уголок скрюченного металла. Снег занесён в подъезд, и двери классов открыты — из них идёт печное тепло, и в этом тепле пахнет кашей, керосином и детской краской, которой здесь больше не красят ничего.

Ситников сидит в третьем классе — там, где висела карта, а теперь карта в нарах.

— Ситников?

— Он. — Лейтенант поднимает голову. Лицо — мужицкое, хлебное. Под глазами — синева, как у утопающих. —

Что надо?

— От Кира. Санитар. Он тебя в январе с бедра поднимал.

Ситников смотрит на меня. Что-то щёлкает в его голове — я почти слышу.

— Ну. Заходи. — Он достаёт флакон, наливает мне полстакана, себе — полный. — Кир… — Он держит стакан, не пьёт. — Киру передай спасибо. Я живой благодаря ему. Живой и в такой вот школе живу. — Он обводит рукой класс, и его взгляд проходит мимо наров, мимо печки, мимо меня и останавливается на гвоздиках под потолком. — Я тут пионеров учил. Фотография была: все в галстуках. Сняли её в ноябре. Знаешь, почему снимают портреты? Чтобы на стене не осталось людей. Стена чистая. А мне казалось — наоборот: пусть смотрят.

— Ситников. Мне нужен журнал заявок. За декабрь. Ночь с пятого на шестое.

Он пьёт залпом. Ставит стакан — аккуратно, в центр парты, как ставят то, что боится разбить.

— Ты знаешь, что там?

— Догадываюсь.

— Все знают, что там. А в журнал никто не смотрит. Знаешь почему? Потому что в журнале — правда. А правду на войне не читают. Правду на войне хоронят. — Он достаёт из-под нара толстую тетрадь, кладёт передо мной. — Декабрь. Смотри.

Я смотрю. Строки идут ровно, почерк огневика — коря-

вый, сильный:

«19:40. Заявка № 217. Участок „Гребень-5“. Скопление пехоты пр-ка. Огонь по готовности. Код: „Ясень“. Исполнитель — 2-я батарея».

И ниже, в графе «подпись запросившего»: «ст. л-т Г.»

— Заявка пришла накануне, — говорит Ситников ровно, как заученное. — За сутки. Плановый огонь по участку. Кодовое слово сошлось. Участок — правильный. Время — «по готовности», то есть когда скажут. А сказать должен был корректировщик. А корректировщик был на гребне. С рацией. Понимаешь? Я ждал отбоя. Я до сих пор жду. Связь не шла — мне говорят: помехи. Помехи, Серёжа. Не помехи. Просто никто не сказал «отбой». И я стрелял. — Он поднимает на меня глаза, и в них — та самая синева. — Я стрелял по своим. Не знал. Заявка — правильная. Рука — моя. Кто виноват?

— Дай журнал, — говорю я. — Мне надо сравнить почерк.

— Сравнить с чем?

— С почерком.

И Ситников смотрит на меня так, как смотрит человек, у которого внутри лежит камень — три месяца, — и который впервые слышит, что камень можно вытащить, — и не верит. Потом встаёт, достаёт из планшета черновик — набросок: участок, стрелки, цифры — и отдаёт мне.

Я держу почерк. Я знаю его лучше своего. Я видел его на рассвете, за гребнем, когда человек, который командовал на-

ми, писал похоронные — одна за другой. Буква «б» у него с петлёй, затянутой до узла, как удавка. «Г» — с маленьким крючком наверху, будто подпись всё время хочет спросить: зачем?

Совпадает. До последней петли.

И вот тут меня накрывает — по-настоящему, по-большому. Не мысль — тело. Ноги становятся чужими, колени дрожат, и я сажусь прямо на детскую парту, за которую когда-то садились дети, и парты скрипят подо мной так же, как скрипит табуретка у Кира, — и я вдруг понимаю, что всё это время я не искал предателя. Я молился, чтобы им оказался кто угодно — не он. Немцы. Шпион в штабе армии. Господь бог, в конце концов. Кто угодно — только не человек, который хлопал меня по каскетке и говорил «едете — значит, едете».

— Ситников. Кто такой «ст. л-т Г.»?

— Гуськов, — говорит он просто. — Старший лейтенант Гуськов. Он и приносил. Лично, накануне. Я думал — плановый огонь. Все думали. Серёжа. Серёжа, ты чего?

А я не отвечаю. Я стою в классе, где нет карты — только гвоздики от неё, — и держу журнал, и в журнале — его рука.

— Серёжа! — Ситников трясёт меня за плечо. — Ты чего молчишь?

— Ничего. Всё нормально.

— Ты бледный.

— Я всегда бледный. — Я кладу журнал на парту. — Вырви эту страницу. И вторую тоже. Одну — мне.

— А зачем тебе?

— Затем, что если Дудник найдёт её раньше меня — посадят тебя. «Исполнитель». А я не хочу, чтобы винился человек, который просто не сказал «отбой». Мне нужен тот, кто сказал «огонь».

Обратно я иду полями — и страницы в кармане гимнастёрки ходят со мной, как ходит второй пульс. Слева — сердце, справа — бумага. Я иду и чувствую каждый листок: он твёрдый, смятый, у него есть края, и края эти царапают грудь, когда я делаю шаг неровно. Люди несут письма от родных — и те письма греют. Мои страницы не греют. Они весят. В них стоит почерк, который я узнаю лучше своего: две петли, крючок влево, нажим на предпоследнюю букву. Я несу человека. Не тело — человека: его руку, его вчерашний вечер, его звонкий голос в фанерной землянке, «записываю факты, рядовой». И мне впервые приходит мысль, от которой я останавливаюсь на минуту среди поля: у веса есть обратная сторона. Пока я несу страницы — я несу и того, кто их подписал. Он идёт со мной в одном кармане, шаг в шаг, и я не могу отставить его на обочину, как отставляют сбитую обувь. Бумага не отваливается. Бумага едет.

Ситников молчит долго. Потом достаёт нож, вспарывает страницу — и вторую, и протягивает мне два листа, смятые, горячие от его рук.

— Гуськов… Он же нас вёл. Он же нам водку ставил, как на чью-то свадьбу… Серёжа, ты уверен?

— Уверен, — говорю я. И это правда. Я уверен, как в своём имени. И мне тошно от этой уверенности — как тошно от дешёвого спирта: она греет и жжёт одновременно.

Обратно я иду полями — длиннее, тише. И на полдороге меня окликают:

— Стоять!

Двое. Патруль Дудника.

— Документы.

Я достаю фальшивку. Рука не дрожит — странно: дрожала, когда я её подписывал, а теперь спокойна. Патрульный смотрит на бумажку, на меня, снова на бумажку.

— Откуда идёшь?

— Из госпиталя. Выписка.

— Выписка у тебя от санчасти второго дивизиона. А идёшь не с той стороны. Идёшь со мной.

И меня ведут по полю к машине, и снег хрустит под сапогами, и я думаю: вот и всё. Всё, что я нашёл, останется в кармане, и Ситников останется виноватым, и Гуськов завтра построит ещё одну шеренгу, и всё будет законно.

И в этот момент сзади — скрип, голос:

— Что за шухер?

Гуськов.

Он стоит в тумане — короткий, жёсткий, как я его запомнил на бруствере. Патрульный отдаёт честь.

— Капитан Дудник поручил доставить рядового…

— Какого рядового? — Гуськов подходит. — Это мой бо-

ец. Он у меня в разведке был. Ночной. Приказ был ночной. Дудник в курсе. — Он отбирает у патрульного мою фальшивку, читает, морщится, убирает в свой карман. — Дальше сами дойдёте или вас нести?

Патруль уходит. Мы остаёмся — двое в поле, туман, снег. Гуськов смотрит на меня.

— В разведке, значит, — говорит он тихо. — Ты хоть понимаешь, что я тебе сейчас спас жизнь, Серёга? Расстрел тебе светил. Без суда, с конвоем. Я — старший лейтенант — соврал в глаза патрулю. Зачем?

— Не знаю, — говорю я.

— Знаешь. Ты не спишь уже неделю. Я вижу. Ты меня разглядываешь, когда думаешь, что не смотришь. У тебя глаза спрашивают, а рот молчит. Пошли. Дам тебе чай. У меня есть настоящий, листовой. Будто не на войне.

И мы идём — вместе, рядом, командир и боец, — и я несу в кармане две вырванные страницы с его почерком, и мы оба молчим, и молчание у нас разное: он молчит так, как молчат, когда всё под контролем. А я — так, как молчат, когда всё потеряно.

В блиндаже он наливает чай. Мне — а сам не пьёт. Сидит, глядя в печку. Долго. Потом поднимает голову — и в лице у него нет ни трещины, ни корки. Есть что-то, чего я не ждал: покой. Холодный, готовый покой человека, который давно всё решил.

— Серёга. Я знаю, что ты нашёл. Я всё знаю с самого на-

чала.

И дальше он говорит — спокойно, скучно почти, как диктор. Как на том гребне командовал «работаем».

— Писарь в Тамбов не поедет. Писарь к утру подпишет, что виноват Ситников. А ты пойдёшь в госпиталь. Или в землю — как повезёт. Слушай дальше, время дорогое. Мне предложили деньги и жизнь. Двенадцать тысяч и переправу. Я выбрал оба. Меня растил батюшка-поп. От него я знал, что такое деньги, а что такое жизнь — до этого утра не знал. Тебе, двадцатилетнему, я не объясню, каково это — знать, что тебя могут убить в любую секунду, и держать в кармане бумажку, на которой написано, что не убьют. Это не предательство, Серёга. Это страх. Я был первый, кто это понял, — и я буду последний, кто это скажет вслух.

— Пятьдесят семь человек, — говорю я. — Пятьдесят семь твоих. Санёк. Колька. Пашка.

— Да.

— Ты писал им похоронные. Ты писал похоронные своим же заказом.

— Да. — Он не отводит глаз. — Я пишу красиво. Ты заметил.

И тут во мне что-то обрывается — не лопается, не взрывается. Просто обрывается, как нитка, как провод, как та самая связь на гребне. Я смотрю на этого человека — на старшего лейтенанта, на командира, на того, кто хлопал меня по каскетке, как по макушке сына, — и не чувствую ни ярости, ни

слёз. Я чувствую только тишину. Такую же, как между залпами. И в этой тишине я ясно вижу, что будет дальше: Дудник завтра найдёт «виноватого». Ситников взвоет под конвоем. Пашкина мама так и не дождётся правды. А этот сядет в машину с двенадцатью тысячами и поедет туда, где его ждёт переправа.

— Ты один это знаешь, — говорит Гуськов. — И у тебя два выхода, Серёга. Первый: завтра утром ты пойдёшь к Дуднику — и повесят нас обоих, потому что твои страницы без меня — макулатура, а моя рука умеет писать любой почерк. Второй: ты молчишь. Я тебе оставлю из двенадцати тысяч две. На гражданке — это дом. Яма, колодец, корова. Ты пойми, тебе же тоже жить…

— Нет.

— Что — нет?

— Корова, — говорю я. — Ты говоришь мне о корове.

Я встаю. У меня ровные руки и спокойный голос, и это самое страшное, что со мной было за всю войну.

— Я пойду, товарищ старший лейтенант. Разрешите идти.

— Куда?

— Спать.

И он верит. Потому что я ухожу в общую землянку, ложусь и делаю вид, что сплю, — а он приходит и стоит над моей койкой, держит в руках ложку — ужинает, между прочим, — и у него спокойное лицо человека, у которого всё под контролем. Он думает: пацан, двадцать лет, перегорит к

утру, покорми его и отпусти.

Он ошибается. Он ошибался всегда — он ошибся даже в сделке, за которую взял деньги: дизель на той стороне он купил не у немцев, а у своих же, у перебежчиков, у предателей типа него, и эти люди не любят, когда их товар пропадает вместе с товарищем. А Гуськов этой ночью не понёс денег. Я знаю, потому что я стоял там, где их должны были передать.

Овраг за конюшней — тот самый, где в снегу стоит чёрная вода и где сапоги уходят по щиколотку.

Я прихожу туда раньше них. Я ложусь на бровку, в снег, лицом к черноте, и жду. Мороз пробирает меня через ватник, и я слушаю своё сердце — оно стучит ровно, как метроном у музыканта, который уже выучил пьесу.

Они приходят в четвёртом часу. Двое. Я вижу их по тому, как ломается линия оврага: там, где чернота, появляются две живые тени. Они останавливаются у чёрной воды и стоят. Ждут. Один спускает рукавицу и смотрит на часы — я слышу, как щёлкает крышка.

Часы щёлкают. Вода чёрная. Ночь стоит.

Я встаю.

Я встаю из снега, как встают мёртвые, — медленно, без звука, весь, целиком, во весь рост, и они видят меня: сержант в белом, с белым лицом, между ними и тем, кого они ждали. И я открываю рот — и говорю первый слог:

— Ку…

И на слове «ку» останавливаюсь. Потому что дальше са-

мо, без меня, из горла, из пустоты, откуда-то снизу выталкивается:

— …ку.

Ку-ку.

Я сижу на снегу — колени сами подломились — и говорю «ку-ку», как будто выплёвываю то, что вошло в меня через открытую дверь. И это не имя и не кличка. Это звук человека, который пересчитал себя и не нащупал остатка.

Из оврага оглядываются. Слышат. И уходят быстрее — и я знаю уже, что они понесут в свою контору весть, и весть эта будет ползти по окопам, расти, обрастать снегом и страхом: тот, кто должен был прийти с деньгами, не пришёл. Пришёл счёт.

Бой приходит через четыре дня — и приходит так, как приходит на войне всё важное: не когда ждёшь, а когда уснул.

Ночь простая, снежная, без ветра. Я дежурю у телефона в третьем окопе и записываю в вахтенный лист время смены постов — почерк у меня ровный, учительский, и на этом почерке я умею писать живым. В два сорок справа, за рекой, просыпается немецкая артиллерия: не залпом — по одному орудию, нащупывая. Первый снаряд ложится слева, за хутором. Второй — ближе. Третий — на наш бруствер, и стена мёрзлой глины падает на меня, как крышка погреба.

— К погоду! — орут сверху. — Миномёты!

И дальше — то, что я слышал один раз в жизни, на гребне: накат. Свист идёт гребёнкой, гребёнкой, гребёнкой, и зем-

ля вздрагивает под каждым свистом, и в промежутках слышно, как кто-то в соседнем окопе читает вслух молитву — не быстро, старательно, как школьник у доски.

Потом накат обрывается.

И сразу — на его последнем выдохе — в воздух вливается другой звук: низкий, железный, как телега по камню. Это идут танки. Их три. Я их не вижу — я их слышу: моторы идут на пониженных оборотах, с усилием, как пахарь на тяжёлой земле, и снег под ними скрипит не по-человечески.

— Пехота за танками! — кричит из второй линии старшина Тюрин. — Маскировочные халаты! Стыдно, товарищи! В белом идут — а мы в своём сидим!

Он смеётся. Тюрин всегда смеётся перед боем — его смех — это наш сигнал, что пора.

Появляются силуэты. Сначала я вижу танк — нос, башню, ствол, как руку, протянутую за подаянием, — и на броне, вцепившись в поручни, сидят четверо. Потом второй. Потом — за ними, по полосам, в рост, с винтовками наперевес — пехота. Много пехоты. Снег летит из-под сапог серыми фонтанчиками, и они идут молча, и от этого молчания холоднее, чем от всего остального.

— Приготовиться!.. — командует Тюрин. — Огонь по моей!

Он стреляет первый. И ночь раскалывается.

Я стреляю. Впервые с гребня я вижу врага в лицо — до этого меня убивали по бумагам, из невидимого, чужими ру-

ками, а тут — лица. Молодые, в белых халатах, с нахлобученными шапками, они бегут на нас, и кто-то падает, и кто-то перешагивает через падающего, и я стреляю, и вспышка выстрела слепит мне собственную мочку, и я зажмуриваюсь между выстрелами, потому что в темноте вспышки видят с той стороны.

Первый танк доходит до проволоки и останавливается — гусеница слетела, и он вертится на месте, скребя железом по мёрзлому грунту, как ложка по пустому котлу. Второй проходит проволоку и выходит на окоп — и я лежу на дне, а надо мной, на высоте человеческого роста, ползёт его брюхо, тёмное, исцарапанное, с прилипшим снегом, и из-под брюха льёт дизельное масло, и запах у этого запаха — не зимний: горячее железо и соляра. Он ползёт над головой — я слышу, как под ним скребёт снег, как что-то ломается, — и уползает дальше, во вторую линию, и я лежу живой под брюхом танка и не могу поверить в это.

— Бутылки! — орут. — Бутылки, куда дели!

Горящий танк во второй линии виден из нашего окопа: вспыхнул сзади, из моторного отделения, и огонь пошёл по броне рыжим языком, и из люка вывалился человек, и горел, и нёсся по снегу, воя, и упал, и не поднялся. И никто не смотрит на него — все смотрят дальше, потому что дальше идёт третий танк и за ним пехота, и пехота уже в траншее.

В траншее — рукопашная.

Это не то, что показывают в кино. В кино — крик, раз-

мах, сабли. Здесь — дыхание. Стон. Хруст снега под сапогами, которые топчутся на месте, потому что в траншее нет места для разбега. Приклад в щёку — звук сухой, как ломается сухая ветка. Нож — короткий, жалкий, деловой. Я бью прикладом — не в того, кто смотрит на меня, а в того, кто идёт сбоку, мимо, — и он падает на меня, и он тёплый, и мы оба в снегу, и его винтовка давит мне грудь, и я отталкиваю, и он не поднимается. Мне девятнадцать, нет — мне двадцать, и я убил человека, у которого обморожены щёки, как у Пашки, — я вижу это в свете горящего танка: синие, обмороженные щёки.

— Работаем! — орут сзади. — Вторая линия — работаем!

Гуськов.

Он идёт по траншее во весь рост — под огнём, в рост, как на плацу, — и стреляет из нагана не вверх, не для бодрости: по тем, кто лезет через бруствер. И его голос — тот самый строевой, из-под которого мы шли на гребень, — поднимает нас: кто лежал — встал, кто встал — пошёл.

— Контратака!.. За мной!.. Работаем!

И мы вылетаем из траншеи — сорок, пятьдесят, сколько нас осталось, — и идём в темноту, навстречу белым силуэтам, и где-то на фланге оживает наша батарея — чужим огнём по чужим колоннам, наконец-то правильно, наконец-то отбой дошёл, — и немец откатывается, и мы идём за ним до проволоки, и там Тюрин останавливает:

— Стой!.. Дальше — не надо!.. Свои здесь!

И мы стоим у проволоки, задыхаясь, и снег под нами уже не белый, и кто-то рядом плачет — не от горя: просто дыхание сорвано, и у человека идут слёзы от натуги, и он их вытирает рукавицей и смеётся.

Отбили.

К рассвету немец уходит. Тишина встаёт над полем, как вода после ливня, и в этой тишине первые петухи дерут горло где-то в тылу, в деревне, которой через месяц не будет, — и мне двадцать лет, и я стою у проволоки, и я жив, и я не знаю, чего это стоило.

Считать я начинаю вечером. Не могу не считать: по списку у нас погибло двадцать два. Двадцать второй — не вписан: он погиб у самого проволоки, и санитары вытащили его живым, и он умер в санроте через час, и Кир вписал его в свою тетрадь — пятьдесят девятый. Нет. Пятьдесят девятый — позже. Тогда — двадцать второй в нашем списке, и я думаю о нём: у него обмороженные щёки. У него обмороженные щёки, как у Пашки, и он не кричал «мама», он шёл молча, как все, — и это всё, что я о нём знаю.

Гуськова находят на третьи сутки после боя.

Похоронку на Гуськова писарь батальона вписал из приказа — переписал строку в строку, и мне осталось только проверить. Я проверил и вернул, и писарь посмотрел на меня удивлённо: ты же любишь писать красиво. Красиво — да. Красивое слово — самое дешёвое на войне, дешевле махорки и сухарей. Я умею написать похоронку так, что мать про-

чтёт и заплачет оттого, что сын был герой. Умею так, что она услышит в бумаге голос. Я написал за полроты триста похоронок, и в каждой — человек, которому я неделю назад писал «живой» одной и той же рукой.

И вот передо мной бланк: «Гуськов Андрей Петрович», — и бланк пустой, потому что у похоронки, кроме адреса, есть графа «родственники уведомлены». И я не знаю, уведомили ли его мать. И знает ли она, что сын её выучился считать чужие смерти по бумаге, — я выучился на таких вот бланках. Пустой бланк я не сжёг. Убрал в тумбочку, под нательное бельё. Некоторое на войне держат не для дела: держат для того, чтобы помнить — бланк всегда ждёт, а люди нет.

На перекличке его нет. Дудник спрашивает: где старший лейтенант? Никто не знает. Его ищут до вечера — и находят в овраге за конюшней, в том самом, у чёрной воды, лицом вниз, и на снегу под ним — тёмное. В спину. Своя пуля, свой калибр: я потом вижу гильзу, и гильза наша, трофейная, из нагана — из тех, что ходят по рукам у приёмщиков.

И в тот же вечер выходит приказ. В приказе — другой Гуськов: «старший лейтенант Гуськов А. П. пал смертью храбрых при исполнении воинского долга. Представлен к награде посмертно».

Через неделю красная звёздочка ордена приходит в штаб — маленькая, жестяная, она лежит на столе у Дудника красным пятном на белой бумаге, и я смотрю на неё через порог землянки, когда меня вызывают за новым пайком, и я думаю:

вот так и живёт на войне правда. Она лежит в журнале, вырванная, в моём кармане. А на столе у Дудника — орден. И оба документа — честные. Один — как велит бумага. Второй — как велит снег под Гуськовым.

Похороны — без музыки, в общей яме, за деревней. Я стою в стороне и не снимаю шапку, потому что не снял бы даже пальцем. И я не испытываю ничего. Совсем ничего — это хуже ярости: пустота, где ярость должна была быть. Я — писарь. Я умею писать живым. А про мёртвых — я умею только один жанр: цифры.

И вот теперь — тишина. Две недели.

В курилке у блиндажа цифры шепчут, как шепчут слухи. Никто не знает, кто пишет, — и это правильно: у письма есть почерк, у счёта не должно быть. Стоят трое, дым ровный, как в бане, и один шепчет: «на складе — двенадцать», второй: «а на станции — сколько?», третий прячет цигарку в ладонь, чтобы дым не выдал. Я стою поодаль, у стены, и слушаю, как люди считают чужие цифры — так на ярмарке считают чужие деньги: легко, с азартом, без риска. В этом всё дело. Своя смерть счёта не терпит: своя — это своя. А чужая цифра ходит по окопам, как монета, от курилки к курилке, и каждый передаёт её дальше — и каждый остаётся цел.

И у меня впервые за войну есть то, что слышно, даже когда меня нет: счёт ходит без меня. Пусть ходит. Пусть его передают, как передают примету: примета, которую повторяют, — она уже почти закон.

В батальоне тихо. Дудник копает — Ситникова пока не трогает, ведёт своё, медленно, как крот. А Гуськова в приказе нет. В приказе — орден.

Я вешаю на гвоздь шинель с чужого плеча и ночью надеваю другую — такую же, все одинаковые, — и иду туда, где мне нужно идти. Я больше не боец. Боец воюет по приказу. А я воюю по списку, который составил сам, — и в этом списке у меня уже есть имена: двое приёмщиков с оврага. Водитель с геранью. Тот, кто подделывал справки. Тот, кто в декабре снабжал штаб кодовым словом «Ясень».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.